

последовательности его произведений, ее непременно хочется сравнить с тем, что ей предшествовало и что последовало за ней: на первом плане уже не ее реальное бытие, а значение ее в развивающемся единстве творящей личности. Ведь и значительность автора измеряется не количеством удач, не равенством всего, что он когда-либо писал, перед судом безличного и пустого совершенства, а той напряженностью духовных сил, которая сказывается уже в переходе от одной книги к другой, в различии замыслов, в борьбе страстей, в неустанном росте творческих возможностей. Последний и решающий знак величия — непрерывность восхождения, не обрывающегося до конца; все исключения из этого правила болезненны (хотя, конечно, не в упрощенно-медицинском смысле слова). Бунин — не исключение, его творческое здоровье так же несомненно, как и творческая мощь. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить «Жизнь Арсеньева» с первыми рассказами его или хотя бы в выходящем теперь Собрании сочинений седьмой том, где мы находим «Митину любовь», «Дело корнета Елагина», «Иду», «Солнечный удар», с томами вторым и третьим, содержащими произведения 1909—1912 годов. Различие велико; и тот в бунинском искусстве не Бог знает что поймет, кто отдаст предпочтение ранним его проявлениям перед поздними.

«Озаренный луной, Хрущев стоит над нею (снежной кучей) и, засунув руки в карманы куртки, глядит на блестящую крышу. Он наклоняет к плечу свое бледное лицо с черной бородой, свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок блеска. Вот бы вернуться в кабинет и просто, просто записать все то, что только что чувствовал и видел...» Это из коротенького рассказа «Снежный бык», написанного в 1911 году. А вот заключение другого, столь же краткого и еще более мастерски написанного прозаического отрывка «Книга», помеченного 1924 годом, но отражающего несомненно воспоминание более ранних лет. Рассказчик лежит с книгой на гумне, в омете. «Все читаете; все книжки выдумываете?» — вспоминает он слова проходившего мимо мужика. «А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно мол-

чать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!» То, к чему Бунина тянуло и в 1911-м и в 1924 годах, то воплощение, о котором он тосковал, «стараясь уловить и запомнить оттенок блеска», стремясь к выражению «единственно настоящего и своего», этого он полностью достиг только в «Жизни Арсеньева», но, конечно, и «Жизнь Арсеньева» не могла быть написана без той долгой подготовительной работы, какой представляется с точки зрения его последней и прекраснейшей книги все бунинское творчество.

В этой незаконченной еще книге он нашел окончательную форму своего искусства, выразился в ней полнее, чем когда-либо до нее. Но, разумеется, это нисколько не мешает прелести и совершенству «Иды», «Солнечного удара», не противоречит сосредоточенной силе «Митиной любви». К тому же в самом письме этих вещей уже чувствуется та особая заостренность и одухотворенность, которая высшего напряжения достигает в «Жизни Арсеньева». Рядом с этой зрелой бунинской манерой письмо «Деревни», «Суходола», «Хорошей жизни», «Веселого двора» кажется чересчур вещественным и плотным (хотя само по себе это качество нужно признать положительным, если сравнить его с расплывчатой, ложно-поэтической, разукрашенной и вялой прозой, господствовавшей в русской литературе в те годы). Недостаток ранних бунинских произведений сравнительно с теми, что написаны во время войны и позже (хотя, конечно, резкую границу здесь было бы трудно провести), заключается в некотором переизбытке вещей — превосходно, необыкновенно отчетливо и выпукло описанных вещей — над мыслями и чувствами. В «Деревне», например, куски природы, быта, образы людей даны сплошь и рядом с изумительной силой, но они не сплавлены воедино таким побеждающим образом, как в «Митиной любви», не погружены все вместе в один могучий поток, как в поющем и рыдающем словословии «Жизни Арсеньева». Единство намечается, однако, уже в «Суходоле» и (по-другому) в «Хорошей жизни», «Веселом дворе»; оно крепнет и в смысле стройности композиции и в смысле более скрытого подчинения всех частей замыслу лирическому по существу.